

Который год подряд проходят Шешолинские чтения, и на каждом открывается новая страница-полстраницы Шешолинской летописи. Да, летописи — иначе не назвать огромный, на редкость стройный и при этом причудливо-разнообразный словесный корпус. Лирическая летопись, огромная лирическая летопись, и полагаю, что повторения слов тут ритмически необходимы, для введения в «северо-западный» ритм стихов: неторопливый, раздумчивый. А как же Средняя Азия, являющаяся то во снах, то наяву, с её полдненным сном и вечерней ленью? Северо-западный человек шёл на юго-восток, и однажды ритмы совпали. Уроженец тенистых речных стран, Шешолин стал знатоком и переводчиком поэзии зноя и пустыни. Дервиши в тихом изумлении читали его переводы своих стихов. Пусть это мгновенная, молниеносная картинка, фотовспышка. В поэзии визионера так и должно быть. *«Лишь кажется, что жить необычайно просто, / а под тобой растёт культурный тайный слой».*

Поэзия Евгения Шешолина — поэзия странника. Летопись путешественника. Сочетание непривычное: переходить от места к месту и описывать, что видишь, как если бы описывал одно место. Летопись предполагает смену дней и постоянство места. Дневник путешествия предполагает смену дней и смену места. В поэзии Шешолина место, которое он видит день за днём, — всё равно другое. И в то же время, какое бы место ни

описывал ЕШ, он описывает одно-единственное — внутри себя. Обетованную страну. Он видел сонм изменений, как сонм цветных мотыльков, кружащихся над тропинкой в заветную страну — *«до века знакомый век»*. Стихи как духовная практика? Возможно, так и было. Тихая, может быть, не заметная сразу, но яркая и мощная работа. В поте пишущий, пашущий. Но на стихах ЕШ лежит роса — как свидетельство вдохновенного труда — *«горстка небесной росы светляков»*. Летопись путешественника — новое, что принёс Шешолин в русскую поэзию.

Поэтическое наследие Евгения Шешолина — более 1000 стихотворений. Составить избранное сложновато. Но есть книга *«Изумруд со дна великой»* — небольшая, изумительно красивая, лиричная и мудрая. Её можно назвать зеркалом поэзии Евгения Шешолина. *«Я ль на свете...»* В этой книге царственность поэзии отображена каждым стихотворением. Но у красавицы-гордячки оказался нрав смиренной падчерицы. Поэт, созданный учителем, наделён судьбой нищего скитальца. Не новость в поэзии, но этот трюизм каждый раз болезненно невыносим: так смотреть на растоптанную бабочку или на убитую птицу. Если бы не стихи, если бы не великолепные стихи. Представим, что вдруг как бы само собою составилось идеальное избранное стихотворений. Что бы мы увидели в нём? Очень трудно объяснить. Потому что придется опуститься к уровню *«каждый увидит то, что способен увидеть»*. Но это не совсем так. Поэзия Шешолина — поэзия властная, точная, строгая, не допускающая многозначности. Но при этом опережающая современность по искусству синтеза, по чувству *«всево-всём»*.

Итак, посмотрим глазом ординарного редактора провинциального журнала. Увидим мастерские опыты стиха. Нота бене: при жизни у ЕШ было очень мало

публикаций, хотя его стихи вполне удовлетворяли требованиям журналов (на первый взгляд). Он очень переживал, что не печатают. Не мог понять, где не сходятся концы с концами, и в то же время — знал это. Противоречия нет. Есть такое знание, которого лучше бы не было. Полагаю, спинным мозгом чувствовал, что стихи его меланхоличны, причудливы, тонки для журналов. И неловко было это признавать — словно признаться в отсутствии мастерства. Ну что я, стихотворение написать не могу? За пределами его стихов начиналась область тупой и плоской справедливости. Любая скотина могла сказать поэту: недостаточно страдал, надо как Маяковский или Есенин (позднее — Бродский). На личность перейти — омерзительно, а по сути, ответить нечего.

В стихосложении ЕШ умел почти всё. Сонет, четверостишие, формы среднеазиатской поэзии, средневековой европейской поэзии... Но читатель выделит сразу длинные, напевные двустишия — газели. Поэт особенно любил их, слышал их звучание как шум реки и умел передать. Предположим, что «идеальное избранное» открыл человек, любящий стихи задушевные, простые. И он найдёт прекрасного собеседника! Поэт вполне разделяет и грусть, и тягу одиночества, и пресловутую гейневскую *«зубную боль в сердце»*. Лирика ЕШ пронзительная, строгая, беспощадная. В ней есть нечто от дворовой песни. Но какие глубина и изящество! *«Проходит чья-то жизнь улыбкой из окна»*. Одним из даров ЕШ был — возвращать словесной мелодии потерянную чистоту. Поэзия оmyвает землю, освобождает её от тяжести гнета и насилий. Пусть это обречённая на гибель надежда, поэт знает своё дело. «Татуировка рек» на огромном теле страны стараниями поэта перестаёт быть знаком проклятия, становится сакральным знаком.

В целом о лирике ЕШ можно сказать так: она географична. Поэт рассматривает страну как тело

любимого человека. В его географизмах присутствует эрос, мощный эрос, метающий то стрелы острейшего вожделения, то стрелы гнева, то накрывающий сетью покоя. И наоборот, когда пишет о человеке, поднимает его до местности — возникает географический портрет! В первом случае местность приподнята ярким чистым эросом сама над собою, и в ней начинают проступать черты земли обетованной. Во втором — черты местности, узнанные в человеке (в его лице и теле), вновь приобретают черты местности, и эта местность — та же земля обетованная.

Годы, в которые ЕШ написал свои лучшие стихи, были тоскливыми, глухими, но в них была болезненная подлинность. Есть мнение, что многие поэты, писавшие в 80-е, умерли потому, что не хотели жить в новом, чужом и опасном времени. Опасном более чем смерть. Как среднестиховая метафора это хорошо. Но для ЕШ недостаточно объёмно и глубоко. Есть мудрость в том, что он не перешёл рубежа. Однако образ поэта — цельный, чистый, упрямый — будто обломан с одного края. Последние годы и обстоятельства гибели вполне подошли бы романтическому поэту (а романтизма ЕШ не занимать было). Но оказавшееся универсальным клише романтика отрицает поэта-вожатого, поэта-вестника, поэта-ангела. Непривязанность ЕШ к какой-либо определённой группе поэтов, к стилю, к течению — от романтизма. Чувство своего пути, своего ландшафта. Но созидательное начало (романтикам чуждое) было столь же сильно. ЕШ мечтал об альманахе, и появилась «Майя». Классическая поэзия Средней Азии нашла в нём не только знатока и почитателя, но и одного из своих поэтов. Это поэт-самоцвет, поэт-измарагд, явление необычное, яркое, которое еще долго предстоит осмыслять. А пока лучше прочесть его прекрасную балладу о Нецауалькойотле, царе майя, пророчески увидевшем свою кончину как кончину цивилизации.